

Светлана Заикина

РАССКАЗ

ПОСТЫЛАЯ



Шумит в высоких тополях осенний ветер. Только он хозяин над притихшими, словно успокоенными, полями. Тихо в поселке, только вороны накаркивают холода да первый снег. Но цветут пышными кустами дубки, покрытые инеем, пахнут свежо и горько. На голых ветках яблонь кое-где задержались крупные симиренки, в огородах синеют крепкие кочаны капусты.

В усадьбе Милушкиных, как и у соседей, чисто выметен двор, под крышей сарая висят связки перца и тугие кукурузные початки. Да еще розы цветут, конец ноября, а белая, с длинными лепестками роза, обожженная по краям утренним морозцем, по-прежнему раскрывает лепестки навстречу ветру, а двое деток-бутонов за ней тянутся...

Хлопает дверь, на крыльце появляется Дуня — розовая после сна, в наброшенной на плечи клетчатой шали. Дуня смотрит на петуха, важно сидящего на стогу, и думает: «Похолодает, видно, ишь кочет ноги прячет...» Спускается с крыльца, режет лопнувший от сытости вилок капусты, тут же очищает его, бросая листья кудахтающим курам.

Глядя на петуха, беззлобно думает: «Ну что мужик мой, от семьи совсем отбился, никакой заботы ему нету».

Пробегаю, замечает розы, прижавшиеся к забору, всплескивает руками: «Да что ж ты такая поздняя, да еще и деток привела, на зиму глядя-то. Что с тобой делать, а?»

Дуня осторожно срезает розу с бутонами, укрывает их шалью и бежит в дом. В дверях свекровь Домна Кондратьевна молча, поджав губы, рассматривает невестку и ворчит:

— Терентий дома-то? Чтой-то ты, мужняя жена, бегаешь телешом, простоволосая. Да и запозднилась, смотрю. В церковь-то раз думала иттить али как? День святого Михайлы; заутреня вот-вот начнется, а ты неприбранная мотаешься по двору. Распустились совсем, окаянные...

Старуха хлопает дверью. Дуня сразу скучнеет, хорошего настроения как и не бывало. Сникнув, постояла немного и, пересилив себя, толкнула дверь.

— Это что же делается на свете,— гневается свекровь.— Лампада не горит, сама Дунька телешом бегаёт по улице, а молод-хозяин дрыхнет.

Она срывает одеяло с сына и грозно кричит:

— Терентий, что ты, ирод, прости меня-господи, делаешь? Ведь петь тебе в заутреню, а ты все вылеживаешься!

От крика просыпаются внуки,

шлепая ножонками, выбегают из спальни, и поднимается рев, сопровождаемый руганью бабки, которая тут же начинает их поспешно одевать.

Терентий, чернявый, с припухлыми веками, нехотя одевается, молчит. Откровенно говоря, он совсем забыл о сегодняшнем церковном празднике, но свою досаду и злость решил сорвать на жене:

— Ты стоишь, ровно приколдованная, не слышь, что ли, что маманя говорит, собирайся поскорее. Да праздничное надень... Молчуха навязанная...

Стиснув зубы, чтоб не разрыдаться, Дуня поспешно открывает сундук, достает алого атласа стеганое платье, сверху надевает расшитую узорами душегрейку, поверх косынки повязывает красный, крупными розами, бахромчатый платок...

Перед церковью они разделяются: для мужчин и женщин разный ход. Тускло горят свечи, приторно-душный запах ладана, темные лики святых.

Свекровь падает на колени, увлекая внучек: долго, истово молится. Дуня смотрит на свечи, они тают и расплываются от застывших в глазах слез. Около нее, на скамеечках, сидят старухи, оглядывают всех входящих, тихо перешептываются: дела мирские занимают их сильнее, чем дела божьи. Увидев семейство Милушкиных, они замолкают, оглядывают вошедших и вновь наклоняются одна к другой, шепчутся:

— Опять Домна умыла невестку слезьми. Что значица сирота в свекровьей хате. А невестка-то работающая. И тихая-а, глаз на старших не поднимет, уважительная. И чем-то она Домне не по нраву?

Девчоночкой в пятнадцать годочков во двор взяли... А сама-то ишь, усердствует! Поклоны бьет, прощенья все просит у него, а как это он ей прощать-то будет слезы сиротские? Подумаешь, была Домна атаманская дочь, да смыло все это годами-то. Пора ей нрав-то менять... давно пора...

Доходит старуший шепот до слуха Домны Кондратьевны, и еще сильнее сжимает она губы, просит у заступника

архангела Михаила кары на головы своих недругов.

Отец Тихон слышал и шажки, и шорохи, и шепоты, но все это не вызывало особых раздумий и тем более не сокрушало его, так как выглядело привычно. Пока жили на чужбине, люди, казалось, верили крепче, да и то, как сказать... Иные, домашние тревоги и заботы оказывались более привязчивыми и у отца Тихона, отодвигали церковное. Вот прихворнул что-то младшенький Захарка, все в руке божьей, все от него, и здоровье и хворь, будь же милостивым, всевышний. Но все-таки, пришел ли участковый врач или нет? Понадеешься хоть и на своих, на семейных, а без тебя, твоего глаза, могут и запоздать с вызовом врача...

Дуня ничего не слышала и не видела: ползла по щеке у нее одинокая слеза, таяли свечи в глазах, боялась закрыть их, чтоб слезы градом не полились на всеобщее позорище... Среди поющих вырывался голос Терентия. Пел он самозабвенно, беря такие головокружительные верха, что певчие ахали про себя, а старухи вытягивали головы и поспешно крестились: «Ишь ты, как выводит, как выводит Милушкин-то! А до зелья бесовского тоже первой».

Дуня слушала и не слушала голос Терентия. В церковь она ходить не любила, только, может, совсем маленькой с отцом, с матерью. Так то было давно. Воспоминание о родных еще больше ей растравляет душу... «Дунюшка, цветочек ты наш, вставай... Помощница ты моя ненаглядная»,— слышится ей голос матери. Сквозь ставни пробиваются солнечные лучи. Легкой рукой мать проводит по лоскутному одеялу, укрывшему Дуню, и снова ласково тормошит, треплет ее.

Раннее воскресное утро. Мать будит Дуню отстоять молебен за то, чтоб отец вернулся живым-невредимым с заработков. Далече уехал с артелью, на Мраморное море. Дуне недавно исполнилось четырнадцать, невеста почитай. Она замечает на себе взгляды парней, когда сойдутся на посиделки. Смущают ее эти взгляды и чем-то веселят. На сердце словно колокольчик звенит радостный: взрослая я совсем.

Сватов того гляди зашлют.

Мир Дуни небольшой и светлый. Родилась она долгожданной и вымоленной у бога, на берегу этого синего как материнские глаза озера. Старые люди толковали, что пришли их прадеды сюда, в турецкую сторону, тому более два вежа, спасаясь от царской гибели. Собираясь на праздники, девки и парни водили хороводы, пели о славном атамане Игнате Некрасове. На хороводы приходили и старые и молодые, жили одной общиной. Да и как же иначе, на чужбине-то. А то, что было чужбиной, Дуня стала понимать рано. Расчесывая длинные волосы девочке, бабка Ефимия рассказывала ей о неведомой родине. После этих рассказов Дуня уходила на озеро и до ломоты в глазах смотрела в далекую сторону, туда, где некогда плыли по воде струги с казаками и их семьями, а впереди всех, в алом бархате, сам Игнат Некрасов «со товарищи». Пели они песни о вольном Доне, о Есауловском городке, где цветет белым цветом вишня с диким тереном.

Выводил ее из задумчивости голос Терешки Милушкина, их соседа: «Дунька, да ты ровно блажная, че глаза-то на воду поставила? Али видишь что?»

Дуня опасалась длинного и не по летам рослого Терешку. Был черен он волосом, крупногуб, с дерзкими золотистыми глазами. С колыбели венчана она была с ним, но чувства ее еще спали, словно на заре цветы. Мать хлопотливо готовила приданое. Дуню тоже засадили за шитье казачьего женского наряда: купили алого атласа, шелковых ниток, мать покроила платье и вместе сели его стегать. Работа долгая, муторная, но зато наряд этот остается на всю жизнь, не прячется в сундуки, носится не только по большим праздникам, а и в воскресные дни, и в церковь. Терентий — певчий в хоре. Когда Дуня слушала его, то что-то теплело в ней, касалось сердца. Но ненадолго. Как огонек под ветром гасла она под недобрым взглядом будущей свекрови. Не нравилась старой хозяйке Дуня. Против мужнего решения не смела слова выставить, но душа к будущей невестке не лежала: ростом не вышла, тонка лицом, ноги-руки малы, не

бабьи, что в хозяйстве с такими делать. Хороши всего-то коса да глаза. Да с лица воду не пить... Терентий тоже Дуню не жаловал, а то нет-нет да и ожесточится: на посиделках она не так, как другие, вроде ее водой облили. Уж на что лучше Устя Бандеровская: крупная, с горячим легким телом и податливыми мягкими губами. Но против установленного закону не пойдешь: отцы ихние друзьяки с детства. И сейчас вот в рыбную артель вместе подались.

...Душно в церкви. Чадят свечи. Тяжело Дуне стоять под пытливыми взглядами старух...

Вот так же душно и чадно было в церкви той страшной зимой шестьдесят второго года, когда внезапно вернулась рыболовецкая артель с моря и передала матери Дуни только отцовский кожух: волной смыло отца во время шторма. Замертво упала Настасья, Дунина мать. Отпевали ее через три дня одной молитвой за утопленного раба божия Матвея... Дядька Михаил, отец Терентия и друг отца Дуни, клялся миру не оставить сироту. И весной стала вся омертвевшая от безразличия и горя Дуня под венец. Прошли тенью мимо нее хлопоты станишников о возвращении на неведомую родину. Была она теперь мужней женой и за все решала его семья. Свекор относился к ней по-доброму, но он был мужчиной немногословным, в женские дела не вникал и не вмешивался. Там царила Домна Кондратьевна, известная на всю станицу крутым нравом и несговорчивым характером.

Оторвали от креста Дуню на кладбище добрые руки свекра. Не одна она оставляла прах родных и близких.

...Проснулась она к жизни словно заново, когда в ней заговорила другая, потаенная жизнь, заговорила и потребовала внимания к себе. И когда клубилась от весеннего пара земля, а галки таскали прутья и строили гнезда, родилась Настя, синеглазая с льняными, как у матери, волосиками. Даже скорая смерть свекра прошла как-то мимо. Все внимание взяла Настенька, веселая, улыбчивая. И тут она свекрови не угодила: принесла бело-брысую, не ихней, милушкиной, породы.

Терентия послали учиться на курсы шоферов, потом забрали в армию. Письмами он не баловал, редко-редко когда отпишет домой, жив, мол, здоров, чего и вам желаю. А тут в совхозе кипела жизнь, несхожая ничем с той, на чужой стороне. И тянула к себе эта жизнь, с каждым днем становилась все привлекательней и для нее, Дуняши. Подружки уговаривали отдать Настеньку в детские ясли, а самой пойти работать в пошивочную мастерскую, пусть сначала ученицей, а со временем можно и на мастера выучиться. Теперь здесь этим никого не удивишь, всяк свою долю находит.

Плеснулась тут на Дуню совхозная жизнь, ровно свежей волной окатила. И людей сколько интересных видеть стала, смотрела, как ловкие руки Катерины-мастерицы одевают в невиданные обновы женщин, как от этого цветут щеки и губы даже самых некрасивых девчат. И самой захотелось накинуть на себя вишневое в золотистых колосьях платье, такое же, что шила себе к празднику быстроглазая Валька-продащица. А когда Настюша впервые прошлепала от сундука до кровати, на побывку без объявки приехал Терентий. Подтянутый, в зеленой гимнастерке, пахнувший ремнями, был он для Дуни неожиданно желанен. Но Терентий по-прежнему оказался скуп на ласки и вскоре уехал дослуживать на границу. Был при отъезде весел, возился с дочуркой. Жизнью в совхозе и в воинской части он доволен. Это тебе не поденщина, не рыбный промысел на пропитание, не чужой турецкий надзор. Одно слово — родина. В охоту и работа идет. Водил он машины. Любы они ему. И в армии и в гражданке хорошо.

Вернулся Терентий со службы поздней осенью и, кроме первенькой, увидел вторую дочку в люльке. Чернотой глаз и волос она пошла в него. «Литая в отца», — судачили старухи. Но звали ее Лилей, именем непривычным для казаков-некрасовцев. Свекровь теперь ничего не могла поделывать с невесткой, с обличья прежняя и характером так же тихая, а все на свой лад ведет, не покорствует. Дуня ждала Терентия. Жила она теперь в

предчувствии счастья, хотя сердцем чувствовала — не оттаяла мужняя душа, не повернулась к ней, как к желанной. «Ничего,— сама себя утешала Дуня,— ведь и Терентий мне не сразу милым стал. Сколько весен непроснувшаяся встречала... Полноблюсь я ему...»

Получив как-то премию за хорошую работу, отрез синей ткани, не понесла его домой, не положила в сундук на черный день, как велела свекровь, а сшила себе к майским праздникам платье. Отделали его девчата черными кружевами, низко оголили шею, обтянули рукавом тонкие руки и сами-то ахнули: «Дуня, да ты ж у нас загляденье!»

Так в новом платье, взяв детей из яслей, и прошла она гордая по поселку, впервые не повязав голову платком. Дома на нее онемело уставилась свекровь, но скоро прорвалось старое, злое. И что только не услышала Дуня, но упрямо ждала мужа, ведь придет же, придет с работы: хотела ему показаться. Для него ведь это шилось, все делалось. А Терентий, даже не взглянув на нее, сел за поздний обед и не заметил бы ничего, если бы не мать: «На жену-то, на жену-то глянь, сыночек. Опозорила она нас всех!» Терентий долго, словно впервые увидев, рассматривал жену, ее длинные, опущенные густыми ресницами глаза бездонной синевы и тонкую, совсем девчоночью шею... Глаз не отводил и не сразу нашел что сказать.

— Ну что вы, мама, раскричались,— первое, что от него услышали.— Пора ей на человека походить, а то выйти стыдно. Все старое донашивает, еще когда сшитое. Не модно это, да и некрасиво.

— Не мо-о-дно?— простонала старуха.— Это что ж за слово такое? В каком писании оно написано, а ну покажи его мне? И ты, Терентий, туда же! Позорьте материны седины, рвите ей сердце. И откуда она, постылая, навязалась на нашу семью?! Кто в доме главный? Ей воду из-под наших ног пить надо!

— Ну ты, мать, это брось! — взъярился сын.— Я тоже тут не посторонний человек. Что ты нас все назад тащишь? Телевизор не покупай — бесовские прихоти, стиральную машину не

надо! И что ты нашу жизнь перебегаешь?

Домна Кондратьевна не сразу нашла платок, отступила назад, сунулась в сторону, слепо поводя сохлыми руками и, лишь набросив черный платок на голову, гневно крикнула:

— Ноги моей больше не будет в проклятом доме! — и исчезла за дверь.

Угрозу она свою выполнила. За вещами пришла бабка Акулина, ее двоюродная сестра, тоже вдовуха, и зажила Домна Кондратьевна отдельно от молодых.

Терентий в тот памятный вечер, когда Дуня попыталась склонить его пойти поклониться матери, испросить у нее прощения, накинулся на нее:

— Ты молчи, курица тихая! Сегодня впервой увидел, что жена у меня есть, а не чурка с глазами. Совсем уж мать тебя заклевала, а ты только приседаешь да глаза закрываешь. Уж начистоту-то говорить, ведь решил я тебя бросить, хоть и две девки у нас, уж больно ты скушная...

— А чего мне особо веселиться, Тереша? Думаешь, не знаю я думки твои? И командировки твои мне известные, с Тайкой-кладовщицей...— Дуня давилась слезами от всего невысказанного, наболевшего за долгие месяцы.— Людям тебе стыдно меня показать, а в глаза мои не стыдно глядеть? Тоже от позору ходишь, под ногами камни ищешь, стыдно с людьми встречаться...

Терентий, не ожидавший от своей всегда молчаливой и покорной жены столько слов, сначала опешил, лишь потом сослался на сверхурочные работы, пытаясь найти себе оправдание.

Выбравшись из дома, не скоро вернулся. Молча привалился к стенке, прислушался к неспящему дыханию жены и впервые почувствовал неловкость и вину перед ней.

Листались солнечными закатами долгие летние дни. Работы в совхозе невпроворот. Терентий приходил поздно, спал непробудно, но все равно это был не тот сон, что раньше, когда он возвращался домой выпимши, с запретных гулянок.

Мать забыла дорогу к сыну. Приносила в ясли гостинцы внукам или передавала через соседей, чтоб зашел к ней

Терентий. Во всем случившемся она винила невестку, змею, на груди пригретую. Не пропускала ни одной службы в пустеющей церкви, не делилась своими думками ни с кем.

— Гордыню в себе великую носишь, Кондратьевна. Не так и не тем богу служишь. Прощать не умеешь,— упрекал ее отец Мирон.— Ведь радовалась бы жизни новой. Посмотри, как дети живут. Не снилось нам такое на туретчине. Ведь если бы не обет перед миром, я и то бы ушел куда учиться, иным занялся бы. Годы мои еще не старые,— признавался в потайных думках священник.— И откуда в тебе это сидит? Аль завидуешь Авдотье-то, невестке? Грех берешь на душу. Она у тебя ровно в живой воде искупалась. Золото — не молодайка...

Отец Мирон смотрел на Домну маленькими пронизательными глазками и продолжал бить, как дятел по трухлявому стволу:

— И в церковь их силком не тяни. Она, церковь-то, нужна была в той жизни для нашего сплочения, чтобы не растеряться среди неруси. А здесь против кого сколачиваться? Вы в церковь ходите, ну и ходите, а молодых не неволь. Хоть и хороший певчий твой Терентий, а в самодетельности здесь доводилось и мне его слушать. Большой талант в нем прорезывается, и куда он, этот талант приложится, бог один знает.

После таких речей старуха окончательно терялась, но позиций своих не сдавала. Ночами бога звала, чтоб дьявол не искушал. А искушений было больше, чем надо: тут тебе и кино, и телевизор, и концерты, и электричество, и чего только другого-прочего. Но то ли от упрямства, то ли от страха перед новой жизнью, молилась она еще исступленнее. А сегодня, через сколько долгих месяцев ссоры, она впервые посетила сыновий дом и не могла снова простить невестке ее молодости, ее откровенно счастливых глаз. Ладно прибранная комната еще более оскорбила ее. Но она не могла не прийти в этот ноябрьский день — день святого Михаила, день рождения ее мужа и отца ее единственного сына. И молодые обязаны

были пойти в церковь, хотели того или не хотели... И пусть теперь стоит и плачет та, которая забыла и почитание старших, и стыд, и совесть. И пусть сыну не по нраву стало петь в церковном хоре, он будет это делать, пока жива она, его мать.

Домна Кондратьевна осторожно оглядывается на невестку. Их взгляды встречаются, и она впервые смущается, ей делается не по себе, встретив не враждебный, а понимающий и сочувственный взгляд нелюбимой невестки.

Перед Дуней в этом церковном пении прошла вся ее жизнь — прошлая жизнь, одинокая и бесприютная. И она твердо знала, что не придет больше в церковь. Не хочет она постылого прошлого. Она смотрела на согнутую в молитве спину свекрови и жалела ее. И когда они вышли из церкви, она мягко тронула ее за рукав и весело сказала:

— Маманя, пойдете домой. Я квашню на блины развела. Помянем папашу... Да и оставайтесь у нас. Что по чужим дворам скитаться.

Старуха отшатнулась от нее и непримиримо свернула за угол. Дуня вздохнула, подождала мужа;

— Звала я маманю — не идет... Не прощает нам счастья нашего, нелегкого.

Терентий вскинул черные брови и сказал-резанул с такой же непримиримостью, как мать:

— Ничего, жизнь нынче не прежняя, пообломает дорогую маманю! А позорить себя тож не позволю, по церквям-то таскать. Сегодня отца помянули — и точка. А то вон, говорят, на Доску почета хотят меня выставить, а моя несознательность назад тянет. И тебе нечего ходить, подолом церковные полы мести да детей таскать. Хватит!

И не видели они, как из-за угла смотрела им вслед Домна Кондратьевна, сморщенные губы ее горестно шептали:

— Господи, что же это сотворится, ежели дите мое отказывается от меня... Вразуми ты меня, окаянную...